

Лев Рубинштейн
Скорее всего

Лев Рубинштейн

Скорее всего



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Р82

Фотография на обложке: ДМИТРИЙ АЛЕШКОВСКИЙ

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Рубинштейн, Лев

Р82 Скорее всего / ЛЕВ РУБИНШТЕЙН. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 575 [1] с.

ISBN 978-5-17-079730-1

Один из основоположников московского концептуализма, поэт, едва ли не самый известный российский колумнист последних лет, Лев Рубинштейн всегда первым высказывается по важнейшим поводам. И каждый раз его едкие и остроумные колонки расходятся цитатами по соцсетям. Рубинштейн как никто умеет видеть мелочи, из которых складывается наша жизнь, и облекать свои наблюдения в слова. Новая книга Рубинштейна “Скорее всего” — это обновленный и разросшийся более чем в полтора раза сборник его колонок “Духи времени”, выходивший пять лет назад. С тех пор многое изменилось, но глупость и невежество, о которых пишет Рубинштейн, остались неизменными. Значит, это не последний сборник Льва Семеновича.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-079730-1

© Лев Рубинштейн, 2008, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, 2013
© ООО “Издательство АСТ”, 2013
Издательство CORPUS ®

Оглавление

<i>Предисловие</i>	11
--------------------------	----

Начнем, пожалуй....	25
---------------------	----

на колу мочало

На колу мочало	31
Если вся школа закукарекает	35
Откуда что берется	41
В один прекрасный день	47
Булгакова(-о) знаешь?	53
О национальной гордости великороссов.	59
Ты кто?	63
При чем здесь чукча	71
Узнай о себе.	76

Мрачные бесы	82
Будем как Мбуругу	87
Дункаль	92
Тяжелые соты и нежные сети	98
Скорее всего	105

о том, чего не было

О том, чего не было.	117
О страхах	123
Сон Попова	128
Игрушечный попугай	135
Скелет писателя	141
Так само получилось	146
Памяти Кулибина	153
Прощайте, голуби	157
Куда что девается?	164
Велосипед	170
История	175

семантический сдвиг

Ни слова о политике	179
Суверенная логика	186
Папа или Сталин?	195
Слово на слово	202
Довольно простоты	208
Гордость с нагрузкой	216

Утерянный рай.	223
Да, вольность.	229
Бабушкины сказки	235
Превратности любви.	244
Некритические дни.	254
О самобытности.	261
Комплексные обиды.	265
Песня оленине.	273
Вечная мерзлота.	280
Семантический сдвиг.	287
Осторожно: август.	291
Всемирная отзывчивость.	296
Словарный запас	299
Чем прозрачнее, тем прочнее.	304
Семиотический прорыв	312

апология одного места

Коммунальное чтиво	325
Да не оскудеет, или Четыре в самый раз	341
Танцы от печки.	346
На железной дороге	350
Воздушная тревога	355
Уроки литературы	361
Разрешите обратиться	369
Ледовое побоище	375
Я поведу тебя в музей	381
За ваше и наше здоровье	386

Личный вес	391
Апология одного места.....	396
Мы отдохнем	401
Танцуют все	406
Вне игры	414
Человек и машина.....	420

фирменная упаковка

Нам не дано предугадать.....	429
Урок чтения	434
Старые басни о главном.....	439
Следите за рекламой	444
Лебединое болото.....	449
Обнажение приема.....	457
Деревенская проза.....	463
Вам музыку?	470
Точка пересечения	474
Доиндустриальный пейзаж	479
Гуляем.....	485
Духи времени	491
Фирменная упаковка	497
Торжество неумеренности	501

бобровая струя

Страховое обеспечение.....	509
Восточный мотив.....	515

Бобровая струя	519
С отдаленной поднявшись вершины.	523
Весеннее настроение.	527
Мечты и звуки	532
После антракта	536
Покурить, что ли?	540
Дамы и кавалеры	544
Собаچی метафоры	548
Так, как есть	553
Сон автора	558

<i>Послесловие</i>	<i>565</i>
------------------------------	------------

Предисловие

Ежик кучерявый

В самой первой (после введения) главке “На колу молчало” — образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления.

Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции. Сюда можно было бы добавить многовековую непривычку к критическому чтению. Главную Книгу не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, — даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда наконец перевели

с церковнославянского на русский и сделали доступной — вскоре вовсе запретили, на любом наречии.

Рубинштейн, однако, не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. “Что” важнее, чем “почему”: оно, *что*, влияет на нынешнюю жизнь. Констатировав: “Все большее право голоса обретают вечные второгодники”, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное: “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье”.

Ага, непробиваемое, неуязвимое душевное здоровье. То самое, которому дивился Василий Розанов: “Русь слиняла в два дня. Самое большее в три... Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего”. О чем почти истерически едва не теми же словами написал Георгий Иванов: “Невероятно до смешного:/Был целый мир — и нет его.../Вдруг — ни похода ледяного,/Ни капитана Иванова,/Ну абсолютно ничего!” А потом, в 1991-м, так же стремительно рухнул новый и тоже казавшийся неколебимым целый мир. А уже через десяток лет пошел вспять, и опять все надо повторять и объяснять заново. “Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоро-

вье”, — говорит Рубинштейн. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный — два предложения из восьми слов.

Любопытно, что уже в следующей главке снова косвенно тревожится тень Розанова. Рубинштейн мельком замечает: “Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине”. Это парафраз розановских мыслей: “Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали” и “Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием”. Парафраз, разумеется, невольный, порожденный одинаковым художническим принципом — изъясняться прямо и свободно. Да, вот так просто: всего только прямо и всего только свободно — только нужен еще талант. Чтобы читать было интересно.

Рубинштейна читать хочется — для получения физиологического удовольствия. Когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать.

Рубинштейна читать нужно — это душеполезно.

Рубинштейна читать необходимо — чтобы все замечать и ничего не забывать.

Одна из рубинштейновских книг называется “Случаи из языка” — по сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. “Пространство языка — единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению”, — утверждает он. В главке “Слово на слово” речь о том, как разность мировоззрений проявляется в языковой несовместимости: “Ключевые слова и понятия ударяются друг о друга с диким клацаньем и высеканием искр”.

Слова Рубинштейн знает все, а своими владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни: “Вместо того чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться”. Ирония — “противоядие против мракобесия всех видов”. Он убежден, что “язык зла хаотичен и нерелексивен. Зло никогда не бывает остроумным. А если бывает — то это уже не зло”.

Универсальный рецепт: смешно — не обидно, смешно — не противно, смешно — не страшно. Все более-менее это знают, но надо же уметь применять. Рубинштейн так свято верит в прописанное (буквально) средство, что даже увлекается — ведь зло бывает остроумным и может оставаться при этом злом, когда оно чернит истинные добродетели и рушит заслуженные

репутации. Однако всегда приятнее перехлест в благодушной недооценке, чем в осудительной переоценке.

В одной из хрестоматийно рубинштейновских историй он рассказывает о каком-то музее: “К совершенно пустой витрине была пришпилена бирка. На ней значилось: “Кучерявость у ежей”. На другой бирке, чуть ниже, было написано: “Экспонат на реставрации”. Да не на реставрации — вот он, книжки пишет: ежик, но кучерявый. Редчайшая разновидность.

При всей язвительности и порывах гневного негодования Рубинштейн в большинстве случаев добродушен — как раз потому, наверное, что уверен в силе (своих) слов. Как трогательно, хотя правдиво и без прикрас, описано коммунальное детство. Как дан портрет коммуналки — смешной, парадный, едкий, домашний, вроде групповых портретов Хальса.

Подробный и сжатый очерк тенденций, явлений и стиля пятидесятих: в полстраницы вместились то, что у других заняло бы толстый том. Чем там занимаются на факультетах журналистики, кого изучают? Есть у тех, изучаемых, рубинштейновская способность к концентрации оригинальной мысли? Запомнить его тесноту слов в строке — и попробовать самому. Ну,

мыслить на чужом опыте и таланте научиться нельзя, но хоть глаз наметать — что хорошо, что плохо. Хорошо — чтобы небанально.

Рубинштейн пишет про поражающую взрослых свежесть детского словоизъявления: “Они как-то вдруг формулируют то, что должны были бы сформулировать мы сами, если бы умели”. Получилось, что это он про себя, он именно так умеет, он за нас старается.

С детски равным вниманием и сочувствием сопригаются музей и помойка: андерсеновское внимание к вещному миру и андерсеновская способность одушевлять неодушевленные предметы.

С нежностью описан сортир, по недостатку жилплощади превращенный в кабинет, в котором почерпнуто (каламбур случаен) так много разумного, доброго и пр.: “Настольные книги читаются там, в местах, где нет стола, но есть покой и воля”. Это стихи вообще-то: одна строка — четырехстопный амфибрахий, другая — шестистопный ямб. Пробыло-таки поэта на поэзию — и то сказать, предмет высокий.

Щедро и походя Рубинштейн разбрасывает то, что другой бы любовно мусолил страницами. Ему не жалко, и в этой расточительности — расчет профессионала.

Характерно подано то, от чего хохочешь и выбегаешь. Рассказ врача о записи в сельской больнице: “Укус неизвестным зверем в жопу”. Начало романа, написанного девятилетней девочкой: “Герцогиня *N* сошла с ума после того, как узнала о том, что ее дочь незаконнорожденная”. Бомж, которого прогоняла буфетчица, грозя вызвать милицию, “повернулся лицом к очереди, развел руками и сказал: “Нонсенс!”. О себе: “Кассирша в нашем супермаркете огорошила меня вопросом: “Молодой человек! Пенсионное удостоверение у вас при себе?”

Самое уморительное отдано другим — вряд ли потому, что оно в самом деле подслушано и автор поступает благородно, не присваивая чужие шутки. Похоже, часто похоже, что шутки все же его собственные, но он умно и дальновидно вкладывает их в уста персонажей, тем самым создавая животрепещущую панораму, а не фиксируя отдельный взгляд из угла. Мелкое авторское тщеславие отступает перед большой писательской гордыней. Тут высший пилотаж: понимание того, что пересказанная чужая реплика — *твоя*, если ты ее вычленил из людского хора, запомнил, записал и к месту привел. *Твоя* и книжная цитата с какой угодно добросо-

вестной сноской — если ты приподнял ее на пьедестал своего сюжета. В подслушанной речи и прочитанной книге не больше отчуждения, чем в своих снах или мимолетных мыслях: это все *твое*. “Мой слух устроен так, что он постоянно вылавливает из гула толпы что-нибудь поэтическое”, — говорит Рубинштейн. Все-таки, наверное, не совсем так: его слух ловит и преобразует услышанное в поэтическое — потому что “любой текст в соответствующем контексте обнаруживает способность прочитываться как объект высокой поэзии”. Потому что “жизнь, вступая время от времени в схватку с жизнью и неизменно ее побеждая, сама же литературой и становится”. Это и есть случай из языка. Случай Рубинштейна.

Описывая свои школьные годы, он замечает: “Ученичок я был еще тот. Нет, учился-то я как раз неплохо — не хуже многих. Но я (курсив мой) *вертелся*”.

И, как видим, продолжает — это точное описание способа познания жизни. Озирая мир благодаря выбранному методу на все 360 градусов, Рубинштейн, невзирая ни на что, все-таки вертится!

В книге 62 главы + введение = 63 фрагмента. Охват тем широчайший: писательское призвание, над-

писи на заборах, актерство и притворство, тоска по СССР, автомобиль глазами пешехода, еврейство, смысл Нового года, эрозия языка, ксенофобия, попрошайки, природа страха, пьяные на улицах, футбол как провокатор агрессивности, страшная и заманчивая Москва, вещи в нашей жизни, запахи, коммуналка, китч, храп, интеллектуальная роль сортира, “свой путь” России. Сколько набралось навскидку? Двадцать одна — всего-то треть.

При этом Рубинштейну словно мало разнообразия в его дробной, многофасеточной исповеди сына века. Он все не унимается, смотрит, запоминает, перечисляет. Перечни жизни — одно из его искуснейших фирменных изделий. Ладно когда речь о весне, но вот — храп: “Хлопотливые будни ночных джунглей, грозное рычание разгневанного океана, широкомаштабное танковое сражение, встревоженная ночной грозой птицеферма, финальный матч мирового чемпионата по футболу, брачный дуэт кашалотов, шепот, робкое дыхание, трели соловья”.

Эссенция, она же поэма; конспект, он же песня.

И тут же — мастер-класс элегантности письма и точности формулировок.

Емкие метафоры России изготавливаются из подручного (подножного) материала: “Если водка — воплощение всего человеческого, то лед — всего государственного”.

Стиль — сжатость: “Да стоит ли так много говорить о “великой стране”, если ты и правда так уж уверен в ее величии?” Или такое: “Когда не очень получается стать нормальными, приходится становиться великими, тем более что это куда проще”. (Снова вспомним Розанова: “Хорошие чемоданы делают англичане, а у нас хороши народные пословицы”).

Эпитетов, как пристало истинному стилисту, немного, но уж когда есть, то они начеку: “Жирный гламур, наглежащая от полной безнаказанности попса, несовместимый с жизнью телеюмор”.

Небрежным движением меняются местами заглавная и строчная: “А кто же у нас будет путинным на следующий срок? Неужели опять Президент?”

Исполненный здравого смысла Рубинштейн адекватен — редкое качество. Нет иллюзий — нет разочарований. Но есть надежды — значит, есть горечь. Есть находки — значит, есть радость.

Он пишет о некоем интеллектуале: “Это не оппозиционер и не апологет государства. Это его трезвый критик и ироничный комментатор. Это официально признанный носитель независимого взгляда. Это диагноз”.

О ком бы ни писано — перед нами автопортрет. Дан в главке с примечательным названием “Превратности любви”. А за что любить диагностов? Не за диагноз же, в самом деле.

Петр Вайль

СКОРЕЕ ВСЕГО

Начнем, пожалуй...

У многих эта проблема считается едва ли не главной. Да не у многих — практически у всех. Проблема эта, если обобщенно, формулируется так: “С чего бы начать?” Или еще говорят: “Главное — начать. Дальше уже пойдет”.

Откуда такая уверенность, что пойдет? И почему игнорируется такая вещь, как “чем все закончится”? Неужели только потому, что это и так вроде бы известно? Чем-чем? Ну понятно чем. Все умрем, короче...

Нет, говорят, главное — начать. Или же, что еще главнее, не начинать вовсе. Это тоже имеет кой-какой смысл. Я вот прочитал недавно в интервью одного, что существенно, журналиста интересные соображения о том, что если бы, мол, не было свободных средств массовой информации, то не было бы и терактов. С соответствующими выводами. В общем-то, это правильно. Террор, если это, конечно, не террор государственный, только и может что являть себя на фоне демократических, открытых, прозрачных декораций. А уж свободная пресса в его системе координат — это, в сущности, его же трибуна. Все правильно. Кому интересно взрывать что-либо и кого-либо, а тем более себя самого в ситуации, когда об этом никто не узнает. А если и узнает, то исключительно из шипящих по техническим в основном причинам враждебных голосов.

Все правильно. Но не более правильно, чем то обстоятельство, что если бы не случилось так, что человек родился, то он бы и не умер. Полагать любое начало причиной любого конца — вечная как мир логическая ловушка. В причинно-следствен-

ной системе некоторых племен бассейна Амазонки, например, считается, что ветер дует оттого, что качаются деревья. Я, между прочим, не утверждаю, что это не так. Просто у одних так, а у других иначе.

Начало, в том числе и начало текста, действительно необычайно важная вещь. Вот, допустим, сижу я сейчас за своим компьютером и пишу эти строки, а справа и слева от меня сидят двое моих уважаемых коллег и пытаются начать текст — каждый свой. Тот, который слева, не дает мне писать и требует, чтобы я придумал заголовок к его статье. Без заголовка он, видите ли, не может выдать из себя ни слова. А с заголовком он, видите ли, может. Пожелаем ему удачи. Тот же, который справа, открыл файл, написал свои имя и фамилию и теперь сидит уже минут сорок, пытаюсь сочинить первую фразу.

А что тут можно сочинить?

Вот раньше, во времена Большого стиля, было куда как легче. Напишет человек что-нибудь вроде того, что *“Веками человечество...”*, и пошло-поехало. Это не менее надежно, чем век тому назад — *“Наш полк стоял...”* Тут ведь сам язык пове-

дет тебя куда надо вплоть до Киева, а если повезет, то и дальше. Или так: *“Собирались начали еще затемно”*. Чем плохо? Или: *“С утра дорогу развезло, и до Воропаевки добрались лишь к девятому часу”*. У таких начал нет проблем и с продолжением. Где-то ближе к середине легко и непринужденно может возникнуть что-то вроде *“От местных мужиков удалось узнать, что...”*. А если тебя пробило на пахотно-сивушную “живинку”, то после *“Выпили по первой. Похрустели ядреной хозяйкиной капусткой. Помолчали. После второй языки помаленьку развязались”* вообще уже все пойдет, что называется, мелкими пташками. Чужой, но зато проверенный стиль выведет тебя как слепого на широкую дорогу. Другой вопрос — что на этой дороге делать? Куда она приведет, кроме кассы, да и это под большим вопросом?

Так что делать нечего. Опять приходится думать. Думать о начале. А если ничего толкового не придумаем, отмахнемся самоцитатой: *“Можно начать с чего угодно, будучи уверенным в том, что любое начало в данном случае будет многообещающим”*.

**НА КОЛУ
МОЧАЛО**

На колу мочало

Одной из характерных и, увы, неизбежных особенностей нашей культурной ситуации является необходимость время от времени заново объяснять, кто есть кто и что есть что. Историко-культурная амнезия — хоть и досадное, но постоянное условие протекания культурных процессов, и с этим приходится считаться. Что же делать, если все время приходится напоминать об очевидных вроде бы вещах.

Амнезия эта, как кажется, есть следствие глубоко укорененной в российском общественном

сознании устной традиции. Может быть, это объясняется относительно поздней грамотностью населения. А может, поздняя грамотность объясняется этим. Так или иначе, но история здесь не написана и не прочитана. Она рассказана и услышана. Как рассказана, так и услышана. Как услышана, так и забыта. Устная традиция предполагает, как, например, в былине, периодическую повторяемость ключевых элементов повествования. Для того чтобы хоть как-то запомнить. Для того чтобы хоть как-то пересказать другим.

Эта амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье. Это такое специфическое восприятие времени, где все, что происходит, происходит практически одновременно. Так не бывает в истории, но так бывает в эпосе.

На одном из радиоканалов записывали интервью с неким писателем старшего поколения. Писатель говорил о многом, в том числе и о Пушкине. Видимо, о Пушкине он говорил настолько убедительно, что, когда писатель отговорил и ушел из студии, молодой звукооператор с некоторым трепетом спросил у ведущего программы:

“Он что, знал Пушкина?” То, что для юноши-звукооператора все происшедшее до его рождения воспринимается как-то нелинейно, что все события прошлого в его сознании существуют практически синхронно, — это, конечно, минус. Но зато он знает слово “Пушкин”. И это несомненный плюс. Впрочем, “Пушкин” — настолько успешный бренд, что не знать его было бы просто неприлично.

С этими самыми брендами, ради удобства и мобильности их бытования лишенными всякого содержательного наполнения, происходят иногда странные вещи. Знакомый художник рассказывал, как недавно ехал в такси. Разговорился, как обычно бывает, с водителем. Водитель спрашивает пассажира о его профессии. Художник честно говорит, что он художник. “Как Малевич?” — неожиданно спрашивает водитель. А ведь многие-многие десятилетия “художником” был Репин или на худой конец Айвазовский. А тут поди ж ты — Малевич. Победил-таки некогда опальный “Черный квадрат”. Отомстил-таки Ивану Грозному за его непедагогичный посту-

пок. Впрочем, знал ли этот водитель о Малевиче что-либо, кроме его фамилии и того, что он был художником, никак не очевидно. С Пушкиным, впрочем, та же история.

Та же история и с историей вообще. На дворе есть кол. На колу мочало. Начинай сказку сначала.

Если вся школа закукарекает

Некоторое время назад, включив зачем-то телевизор, я наткнулся на дискуссию. Дискуссия была в самом разгаре. Речь там шла о свободе и нравственности. И так как-то там все время получалось, что свобода с нравственностью сочетаются плоховато.

Особо активничала там некая дама. Судя по речам, а также горящим глазам и проповедническим интонациям, дама была высокодуховная и патриотичная до невозможности. Дама делилась со зрителем некими откровениями наподоб-

бие того, что свободы без твердых нравственных понятий быть не может. Вот ведь удивила! Что за такая свобода сама по себе, риторически восклицала дама. Просто свобода, свобода вообще — это чушь собачья, говорила она. Бывает, мол, свобода убивать, а бывает свобода быть убитым. Ну и прочее в таком духе.

Это, в общем-то, правильно — свободу действительно каждый понимает по-своему. А вот нравственность, видимо, все понимают одинаково. То есть именно так, как ее понимает тетка из телевизора. Мне, впрочем, всегда были подозрительны люди, неумеренно много талдычащие о нравственности. Так же, как, скажем, и о любви к родине.

Представления о нравственности не только индивидуальны, но и историчны. Я, представьте себе, не забыл те времена, когда глубоко безнравственными были короткие юбки, шорты, длинные волосы, драные джинсы, непонятная музыка и “дикие танцы”. Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по от-

ношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет.

Когда-то, очень давно, я зашел пообедать в какое-то кафе в центре города. Сел, сделал заказ. Пока ждал заказ, вынул из сумки книжку, раскрыл ее, стал читать. Подошла официантка и произнесла удивительную фразу. “У нас не читают”, — сказала она строго. “Чего это вдруг?” — изумился я. Официантка, к ее чести, сочла возможным снизойти до того, чтобы растолковать мне вещи, которые, казалось бы, очевидны для каждого нормального человека. “Так это же кафе, — говорила она медленно и отдельно, как это делают при общении с глухими или иностранцами. — Люди сюда приходят от-дох-нуть. А тут кто-то вдруг читает! Вам вот было бы приятно?” Слово “читает” она произнесла с плохо скрываемой брезгливостью. Я понимаю, что сам по себе процесс чтения был для нее чем-то гадким, тягостным и предельно неуместным в приличной обстановке. Чтение не вызывало у нее никаких ассоциаций, кроме занудной и репрессивной школы, так и не выученного письма

Татьяны к Онегину и неисправленной двойки по географии. Я, безусловно, ее обидел, ибо человек, читающий в присутствии людей, похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах. Просто уже хотя бы потому, что мотивы его совершенно необъяснимы. В общем, я поступил безнравственно и осознаю это.

Всегда кто-то кого-то обижает проявлением и утверждением собственной свободы. Но обиженный в свою очередь обижает обидчика отсутствием терпимости и неадекватными реакциями. Вспомним хотя бы историю с карикатурными битвами. Обижать других нехорошо, безнравственно. Но шумно и вздорно обижаться на все подряд не менее безнравственно, вот ведь в чем дело.

Время от времени нам назидательно повторяют, что демократия — это не вседозволенность, а рынок — не базар. Сами знаем, что не базар — за базар надо отвечать. А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются.

Вот еще такую историю я очень люблю. Однажды мою хорошую знакомую вызвали в школу, где тогда учился ее сын. Вежливая, но строгая завуч завела ее в свой кабинет, плотно закрыла дверь и сказала: “Я хочу серьезно с вами поговорить”. Сердце матери тревожно дрогнуло. “Дело в том, — сказала завуч, — что ваш Саша на переменках громко кукарекает”. Слово “кукарекает” она произнесла с каким-то особым нажимом. От сердца отлегло. “Ну и что такого? — спросила легкомысленная мамаша. — На переменках же”. “Вот это мне нравится! — дидактично воскликнула завуч. — Как это “ну и что”? А если завтра вся школа закукарекает?” Представив себе столь искрометную сцену, моя знакомая, забыв о необычайной важности момента, стала дико хохотать. “Ничего смешного я тут не вижу, — строго сказала педагогический работник. — Это вовсе не смешно”. Чем там кончилось дело, не помню, да это и не важно. Важно то, что вся школа, вопреки мрачным пророчествам завуча, так, кажется, и не закукарекала.

Но что правда, то правда — границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры,

о границы свободы чужой. Тут, в сущности, бессильны и этические, и даже юридические механизмы. Тут приходится опираться лишь на собственную нравственную и эстетическую интуицию. Ну и на опыт, разумеется. А опыт свободы едва ли представим без самой свободы.